

ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

(Рукописный вариант шестого письма)

ЩЕДРИН О ПОЛОЖЕНИИ КРЕСТЬЯН

Предисловие Н. Мещерякова

Публикация Н. Яковлева

НОВОЕ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЩЕДРИНА

До сих пор еще среди очень многих — не только читателей, но и литературоведов — распространено мнение, что идеологическая сущность Щедрина состоит только в борьбе против многочисленных еще в его время пережитков докапиталистических, крепостнических отношений, что по существу Щедрин был только либералом и притом довольно умеренным либералом, очень далеко стоявшим от мысли о революции.

Я не могу и не буду ставить в этом коротком предисловии вопроса о выяснении всей классовой сущности литературных произведений Щедрина. Здесь, в этой короткой статье, я ограничусь только тем, что приведу небольшую выписку из предисловия, подготовленного мною к тому сочинению Щедрина, который содержит в себе серию очерков, озаглавленных «Благонамеренные речи».

«Внимательно читываясь в «Благонамеренные речи», равно как и в другие произведения Щедрина, — мы находим в них критику троякого рода:

Во-первых, это критика русского старого, докапиталистического строя. Ее развертывает Щедрин в особенности в своих первых сатирах («Губернские очерки» и др.), а позже в «Пошехонской старине» и в «Господах Головлевых». Это — суровая, безжалостная критика. Для старой России, упорно цеплявшейся за остатки крепостничества, Щедрин не видит другого исхода кроме гибели и умирания.

Во-вторых, Щедрин рисует картину первоначального капиталистического накопления. Он делает это главным образом в сериях «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Убежище Монрепо». В «Благонамеренных речах» он рисует образы Автона Стрелова, Дерунова и других «чумазых».

И, наконец, в «Благонамеренных речах» и в «За рубежом» Щедрин поднимается до критики основных устоев вполне развитого капиталистического общества. Мы видели, что Дерунов из хищника периода первоначального накопления, одетого в засаленную поддевку и пальцем колушающего покупаемое масло, превращается в грядера, носящего цилиндр и разъезжающего в коляске. Мы видели ядовитую критику основных устоев буржуазного общества — принципов частной собственности, семьи и государства. И эта критика не была у Щедрина чем-то мимолетным. Он сам указывал на нее как на основное в его сатирах. «В «Благонамеренных речах», — писал он в письме Е. И. Утину, — я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличии ничего этого нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняются свободы, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются».

В том же предисловии к «Благонамеренным речам» я прихожу к выводу, что критика Щедрина вернее всего может быть названа критикой с точки зрения утопического социализма, под сильным влиянием которого Щедрин был в 40-х годах и от которого он не освободился окончательно до конца своей жизни.

Найденный в настоящее время и в полном виде не напечатанный раньше очерк Щедрина «Кто не едал с слезами хлеба» позволяет подчеркнуть еще одну черту этого блестящего публициста и сатирика: его отношение к угнетенным, забитым, жестоко эксплуатируемым трудовым массам и тот путь, которым по его мнению эти массы могут выйти из своего тяжелого положения.

Эти рабочие массы так угнетены, что они даже не сознают степени своего угнетения. У них нет даже сознания, что они имеют человеческое право не голодать непрерывно. Задавленные нуждой, они не понимают, что имеют право бороться за право быть сытыми. «Человеческая эксплуатация ни-ем так не облегчается, как нахождением масс в состоянии бессознательности», писал Щедрин в другом месте (в «Благонамеренных речах»). Эта «бессознательность» есть главное препятствие к тому, чтобы они проявили активность в борьбе за свои права и за улучшение своего положения. Поэтому для того, чтобы вызвать активность масс, нужно прежде всего разбить в них эту бессознательность, внушить им, что они должны бороться за право не умирать с голода.

«Представляю я себе человека,— говорит Щедрин в очерке «Кто не едал с слезами хлеба»,— которому как следует разъясняется, что не наедаться до сыта, забнуть и не в меру напрягать свои мышцы—вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения; ..представляю я себе этого человека и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице. Но разъяснение продолжается; за общими положениями следуют указания примеров, сравнения и т. д. (разумеется, еще было бы лучше, если бы при этом употреблен был образный ход мысли как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий, но—увы!—мы до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, т. е. с общих положений). Черты лица собеседника мало-помалу утрачивают испуганное выражение и принимают выражение разумное... И до тех пор продолжается разъяснение, пока собеседник не поймет. Представляю себе человека этого, когда он уже понял. А он не поймет до тех пор, пока не убедится по малой мере в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить».

А после того как трудящиеся и эксплуатируемые массы поймут, что нет такого природой установленного закона, который обрекал бы их на вечное голодание, после того как они вступят в борьбу за элементарное право не голодать и добьются некоторых успехов в своей борьбе, они поймут, что могут добыть себе и многие другие права.

«Если человек обеспечен по малой мере от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном, но куда он не будет иметь средства обеспечить свободу своего желудка, он не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга,—вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною».

Важно, чтобы задавленные нуждой трудовые массы—Щедрин не различал еще в них пролетариата—начали борьбу. Начать ее они могут из-за наиболее понятных им и наиболее острых нужд. А затем, в процессе борьбы, они убедятся, что сила на их стороне и что поэтому для них нет ничего «запретного». А это будет значить, что массы победят и станут господами положения.

«Представь себе, что все вдруг сказали бы, что запретного нет,—говорит в «Благонамеренных речах», «либерал» Тебенков.—Ведь это было бы новое нашествие печенегов. Ведь они подвергли бы дома наши разграблению, они осквернили бы наших жен и дев; они уничтожили бы все памятники цивилизации! Но этого нет и не будет, потому что это запрещено. Они знают, что в каждой губернии существует окружной суд, а в иных даже по два и по три, и что при каждом суде имеется прокурор, который относительно печенегов неумолим».

«А что, если они, т. е. «печенеги», т. е. эксплуатируемые массы, станут настаивать на упразднении таких порядков?» спрашивает рассказчик.

«Невозможно! — отвечает Тебеньков. — С тех пор, как «печенеги» перестали быть номадами, их нечего опасаться. У них есть оседлость, есть дом, поле, домашняя утварь, и хотя все это вместе взятое стоит двугривенный, но ведь для человека, не выдавшего ни гроша, и двугривенный представляет довольно солидную ценность. Сверх того они «боятся». Они боятся грома, боятся домовых, боятся светопреставления. Чем они глупее, тем податливее... «Печенег» смирен, покуда ему ничего не дают. Как только ему попало что-нибудь в зубы, — он делается ненасытен».



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К РАССКАЗУ «МИША И ВАНЯ»
«НЕВИННЫЕ РАССКАЗЫ», 1933 г.
Собрание художника, Ленинград

И так «печенеги», т. е. трудящиеся массы, безропотно несут тяжелое иго только до тех пор, пока они «боятся», т. е. не осознали еще, не почувствовали еще своей силы, пока они не выявили свою силу в борьбе и победах. Как только они вступят в борьбу, они почувствуют, обретут свою силу. Тогда они перестанут быть «бессмысленным орудием, годным только на то, чтобы давить, давить и давить». Другими словами, добыв себе борьбой элементарнейшее право быть сытыми, трудящиеся массы (повторяю, Щедрин не видел в России того времени пролетариата), во-первых, станут добывать себе другие права и сделаются в этом отношении «ненасытными», а во-вторых, перестанут служить орудием угнетения в руках эксплуататоров. «В толпе, — говорит Щедрин, — заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы; без нее [без толпы], без ее внимания и участия мы хуже, нежели слабы — до нас никому никакого дела нет». Другими словами, не опираясь на трудовые массы, не связав свою борьбу с борьбой этих масс, не создав себе в них социальной опоры, идеологи будут бессильны, как бы ни были высоки и благородны их планы и их программы. Поэтому «история показывает, что те люди, которых мы не без основания называем лучшими, всегда с особенной любовью обращались к толпе, и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предмете толпу». Поэтому «в служении толпе имеется даже очень ясный эгоистический

расчет, ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития».

Понять интересы «толпы», понять ее жизнь, научить «толпу» перестать «бояться», разъяснить ей ее положение, чтобы она вступила в борьбу,— вот путь, который Щедрин указывает для людей своего лагеря. Но ведь этот путь — путь революции. И звать читателей на этот путь — значит звать их на путь революции. А, с другой стороны, это совсем не путь буржуазного политика.

Я сказал, выше, что критика буржуазного общества Щедриным сильно напоминает критику утопических социалистов. Но Щедрин жил значительно позже, чем Фурье и прочие утописты. Он видел проявления жестокой классовой борьбы, которая кипела повсюду в течение того полстолетия, которое отделяло его от Фурье. Эта классовая борьба его многому научила.

Социалисты-утописты совершенно не рассчитывали на революционные действия угнетенных и эксплуатируемых трудовых масс. Для них социализм представлялся общечеловеческим идеалом. Социалистический строй по их мнению должен был осуществиться не путем классовой борьбы эксплуатируемых, а путем классового сотрудничества. Надо было только доказать людям (людям всех классов) справедливость и разумность того общественного строя, который был изобретен автором социалистической утопии.

Как видит читатель из моего предисловия и как он еще яснее увидит из очерка «Кто не едал с слезами хлеба», Щедрин совершенно не рассчитывает на великодушие и справедливость сытых эксплуататоров. Зато он сильно рассчитывает на борьбу голодных масс. Он хочет вовлечь эти массы в борьбу и притом не во имя каких-нибудь высоких, но им пока еще непонятных целей, а во имя кровных интересов этих голодных масс. Он хочет вовлечь их в борьбу за право не быть голодными. Но он не хочет ограничить их борьбу только этим элементарным требованием. Он видит, что, вступив на путь борьбы и побед, массы не удовлетворятся завоеванием наиболее насущных, элементарных прав, а пойдут в своей борьбе дальше.

Правда, Щедрин еще не видел пролетариата, не понимал, что развитие капитализма ведет к образованию пролетариата, к росту его сознательности и организованности, т. е. к росту силы «могильщников» капиталистического строя. Он не каал в основу своего мирозерцания борьбу пролетариата. И для него пролетариат остается одной из частей «толпы», т. е. угнетенных и эксплуатируемых. И Щедрин поэтому остается еще мелкобуржуазным утопистом. Но он уже делает значительный шаг вперед по сравнению с Фурье, Оуэном и другими социалистами-утопистами начала XIX столетия, ибо он не надеется на великодушие и справедливость эксплуататоров, на их содействие. Наоборот, он полон ненависти и презрения к этим «культурным людям». Он рассчитывает на борьбу масс и понимает их борьбу как борьбу революционную.

Правда, Щедрин сам не принимал прямого, практического участия в этой борьбе масс. Но он сам жестоко упрекал себя за это. «Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? — писал он в очерке «Приключение с Крамольниковым». — Отчего ты подчинил себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не пошел туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?... Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие».

Это признание Щедрина интересно не только как факт психологический или биографический. Оно важно как еще один шаг Щедрина в сторону угнетенных масс, как признание того, что общественный деятель не может ограничиваться только теоретической защитой интересов этих масс, но он должен стать в ряды этих масс и принять активное участие в их практической революционной борьбе.

Н. Мещеряков.

[РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ИЗ ЦИКЛА «ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИЙ»]

Кто не едал с слезами хлеба
Кто слез в ночи не проливал,
Стеня на одр не упал,
Тот и т. д.

Так гласит Гете в плохом переводе г. Струговщикова. И действительно, для того, чтобы понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо именно пройти через то безвыходное состояние, которое такими горькими чертами описывает немецкий поэт, а ежели не пройти, то, по крайней мере, видеть его, присутствовать при нем [а ежели

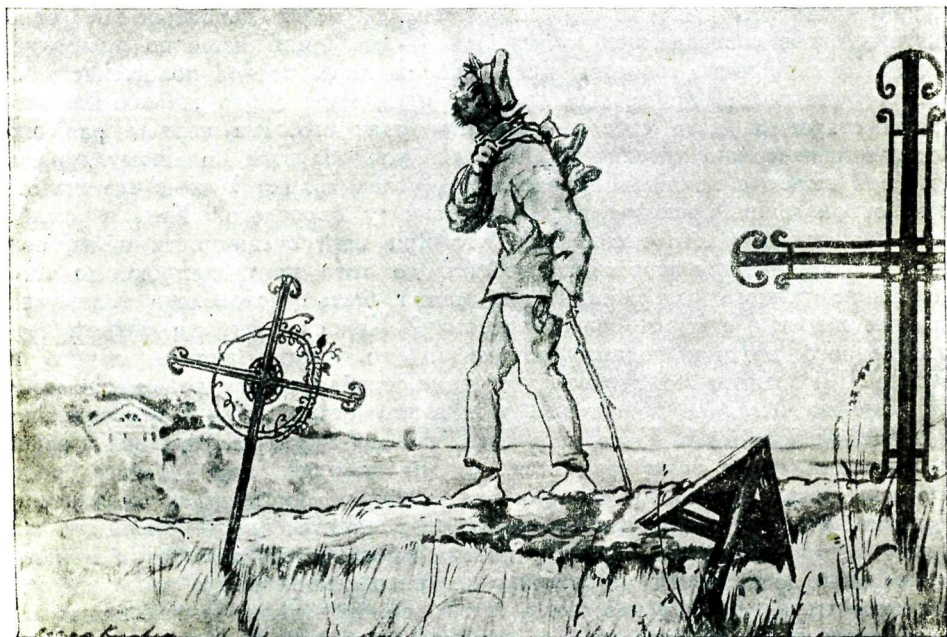


ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К «ГОСПОДАМ ГОЛОВЛЕВЫМ», 1933 г.

Собрание художника, Ленинград

не присутствовать самолично, то, во всяком случае, быть настолько добросовестным, чтоб уметь составить себе о нем отличное представление^{*}. И тогда предстанет перед глазами со всею ясностью та бесспорная истина, что есть нужды особенные, нужды вопиющие, перед которыми должны ступаться и приникнуть все другие.

Страшно подумать о том убожестве, в котором живет большинство, и которому оно, повидимому, вполне подчинилось. Негодование, которое проникает душу при виде явлений пошлого легковерия, одичалости и отвратительного насилья, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, когда собственными легкими вдыхаешь в себя струю той затхлой атмосферы, которою они дышат. В человеческом существе есть нечто высшее, нежели сила озлобления и негодования — в нем есть сила прощения, сила симпатического отношения ко всему, что страдает (причем не сознает даже в миллионной доле всей безвыходности

^{*} Другой вариант: «чтоб не отрицать его возможности и...» [Примеч. редакции].

своего положения), ко всему, что живет не живя, т. е. не зная светлой стороны жизни, ее радостей, ко всему что родится на свет уже заранее заклеенное печатью отвержения, заранее обреченное на безвременное увядание. О! если б массы знали весь ужас той нищеты, которая преследует их от колыбели до могилы, если б они понимали, что в жизни есть нечто такое, что зовется радостью, счастьем, и что право на это нечто есть священнейшее и бесспорнейшее из всех прав человека! Они с ужасом отвернулись бы от самих себя, они убедились бы, что все их прошлое было даже не прозябанием, а просто каким-то чудовищно-бессмысленным служением упитыванию разнообразных чужедных, со всех сторон густою сетью одевших их!

Это симпатическое отношение, которого значительную долю чувствует в себе всякий сколько-нибудь развитой человек, совсем не так непосредственно, как это кажется с первого взгляда. Тут действует не одно инстинктивное сострадание, но и анализ — последний даже по преимуществу. Мы не просто говорим: «ах, какое жалкое, бедное положение!» не просто оплакиваем, но прежде всего вглядываемся в это жалкое положение и стараемся дать себе отчет в причинах его. На первый раз оно кажется совершенно непонятным, и толпа уподобляется большому дураку, который вырос с коломенскую версту и успел только в том, что животные отправления происходят у него, как у взрослого. Как, в самом деле, дойти до такого положения, что при всей очевидности силы, при всем ее обилии, последняя оказывается до того притупленною, до того лишенною всякого содержания, что может быть употреблена только на нелепое шараханье из стороны в сторону? Как снизить до степени бессмысленного орудия, годного только на то, чтобы давить, давить и давить? Действительно, это очень странно, особенно если возьмем в соображение то выгодное положение, в котором стоит толпа* относительно материальных средств. И по мере того, как мы будем углубляться в наши наблюдения, перед нами откроется целый темный мир всякого рода горечей, целая проклятая история непрерывных умственных оглушений. Конечно, все эти общественные неровности, которые ныне поражают нас своею ненормальностью, были в источнике своем до того тонки и незаметны, что даже почти невозможно их проследить, а тем менее угадать тот момент, когда они перестали быть добровольными и естественными и образовали собой систему, но ведь это и не нужно совсем для того, чтоб доказать, что в этой системе нет ни справедливости, ни человеколюбия. Нам не нужно знать даже, виноват ли кто в таком положении вещей, и почему оно произошло: вследствие ли какой-нибудь проклятой необходимости или просто по случайному капризу судеб. Нам нужно убедиться только в том, что тут действительно была система, что она цепко опутала то, что ей нужно было опутать, и лежит доднесь несмываемым грехом на том, что этому греху совсем не причастно. А для того, чтоб убедиться в этом, не требуется ни исторических изысканий, ни особенной склонности к философствованию; тут требуется только известная доза здравого смысла и доверие к собственным своим глазам.

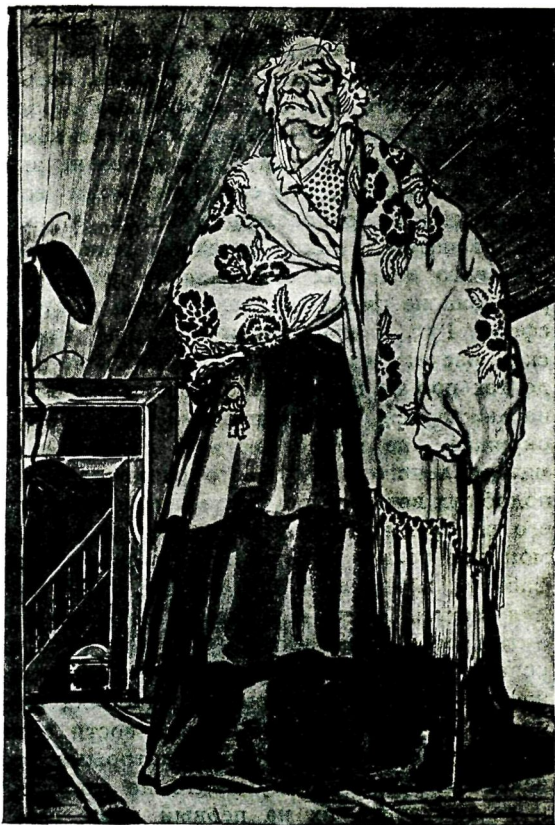
И тогда, ежели к симпатическому нашему чувству и примешается некоторая доля негодования, то негодование это будет иметь в предмете уже отнюдь не толпу, забытую до бессмыслия, робкую до трусости, а нечто иное — предположим, хоть историю...

Этим-то именно и объясняется, что горькое чувство, которое возбуждают некоторые движения толпы, не только не умаляет наших симпати-

* Считаю нужным оговориться здесь, что под словом «толпа» я везде разумею собственно так называемую «чернь». [Примеч. Щедрина].

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА
к «ГОСПОДАМ ГОЛОВЛЕВЫМ»,
1933 г.

Собрание художника, Ленинград



ческих отношений к ней, но и не поселяет в нас никакого разлада, ни малейшего противоречия с самим собой. Негодуя на толпу, мы все-таки сознаем себя привязанными к ней совсем не таинственными нитями, а нитями совершенно явственными и несокрушимыми. Мы чувствуем, что в ней заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы, что без нее (без толпы), без ее внимания и участия мы хуже, нежели, слабы — до нас никому никакого дела нет. В этой зависимости от толпы, конечно, есть много горечи (в самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания?), но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиниться ему нет возможности. Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно этой забитой, мало-смысленной, подчас жестокой и ничего не стоящей толпе; что самый гениальный мыслитель-реформатор, которого мысль не может, повидимому, иметь ничего общего с мыслью толпы, лучшую часть своей деятельности отдает толпе; что толпа обседит* нас, что она одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум». Да, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не умеют, или не хотят объяснить, а фатализм, объясняемый тою общечеловеческою

* Редко встречающийся галлицизм от французского «être obsédé», т. е. быть во власти (неотвязной мысли): выражение «толпа обседит нас» можно «перевести» так: мысль о толпе неотвязно преследует нас. [Примеч. редакции].

основой, которая и составляет соединительное звено между неразвитою толпою и наиболее развитою отдельною человеческою личностью.

История показывает, что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе, и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предмете толпу. Это вовсе не значит, что люди эти идентифицировались с толпою, что они принимали ее нередко слепые и неразумные инстинкты за руководящий закон, а значит только, что мысль о толпе (человечестве) как о конечной цели всякого разумного и полезного человеческого действия сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, если бы была исключительно обращена к отвлеченной сфере. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет; ибо как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития. Человек нуждается в обществе себе подобных вовсе не по капризу или для развлечения, а потому что природа его по преимуществу общежительная и, следовательно, стоя на недостижимой для толпы высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее, покорнее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он непременно погиб бы и загрубел в этом жалком уединении, если бы, к счастью его, толпа сама на каждом шагу и с достаточною резкостью не напоминала о себе, не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того уединения, на которое он, по нерасчетливости и кичливости своей, обрек себя.

Следовательно, те нужды, которыми страдает толпа, суть нужды общечеловеческие, и потому никто не имеет права не только обходить их, но и не поставить их на первый план. Это нужды кровные, вопиющие, от неудовлетворения которых страдает общечеловеческое развитие, а стало быть и наше собственное.

Мудрено представить себе, до какой степени горько влияет на жизнь бедного труженика толпы самое ничтожное обстоятельство; но поэтому-то мы и должны понимать, что для этой жизни нет того самодрянейшего факта, который можно было бы назвать ничтожным. Интересы, повидимому, грошовые, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую громадную сумму, под бременем которой положительно погибает член так называемого «несуществующего» у нас пролетариата. Да, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни (даже подстоличные) и вы увидите сплошные массы людей, которые не знают употребления мяса и для которых вопрос о соли составляет предмет мучительных дум; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой доход заключается в каких-нибудь пятнадцати-двадцати рублях, с трудом вырабатываемых мотаньем бумаги. А пролетариата нет. Правда, что эти массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но ведь во времена и они чувствуют, особенно когда хочется есть. Нам, людям, живущим отдельно от масс, очень трудно представить себе, что такое значит «хотеть есть», ибо, если мы чувствуем голод, то немедленно же и удовлетворяем его; но существуют, действительно существуют люди, которые всегда «хотят есть», ибо никогда порядком желанию этому удовлетворить не могут.

Положение человека, как бы фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть, и вообще «не пропасть, как собака», конечно, заслуживает всего нашего внимания. Это те самые первоначальные, вопиющие нужды, при неудовлетворении которых невозможно развитие никаких иных нужд. А в развитии-то этих

«иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен, по малой мере, от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном, но откуда не будет иметь средств обеспечить свободу своего желудка, не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга — вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною.

И опять-таки не о постепенности и не об ненужности идеалов тут идет речь, а о том, чтобы поставить деятельности (той деятельности, которая в данную минуту необходима) реальные границы, о том, чтобы найти исходный пункт, который соответствовал бы насущным нуждам толпы, и из которого можно было бы вести ее далее. Подумайте, милостивые государи! ведь это право сюжет недурной, это сюжет, из которого можно выйти к какой угодно высшей цели...

Представляю я себе человека, которому как следует разъясняется, что не наедаться до-сыта, зябнуть и не в меру напрягать свои мышцы — вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения, или, как выражается г-жа Падейкова, ничего нет «релегеозного»; представляю я себе этого человека, и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице от подобного разъяснения. Но разъяснение продолжается; за общими положениями следуют указания примеров, сравнения и т. д. (разумеется, еще было бы лучше, если б при этом употреблен был образный ход мысли, как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий, но увы! мы и до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, т. е. с общих положений!). Черты лица собеседника мало-по-малу утрачивают испуганное выражение и при-



«ПИР НА ТАРАНТАСЕ»

Эпизод 3-го акта из пьесы «Тень освободителя» П. Сухотина (на тексты Щедрина)
в Московском Художественном театре 2-м, 1931 г.

нимают выражение разумное... И до тех пор продолжается разъяснение, покуда собеседник не поймет. Представляю я себе человека этого, когда он уже понял.

А он не поймет до тех пор, пока не убедится, по малой мере, в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить. Пусть только он убедится, что право голодать, право не пользоваться ни благами, ни радостями жизни не заключает в себе ничего неприступного, он сразу его устранил сам даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право. Но в этом-то и дело, что нужно, чтоб он убедился.

— Куда я теперь денусь! Куда я денусь-то! бормотала на днях некоторая баба, сильно размахивая руками и почти бегом бежа по дороге.

Мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала из дому на мельницу посмотреть, как его раздавило. Покойник был человек зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми; благосостояние, в котором находилась эта семья, в одну минуту рушилось. Вдова податей платить не могла, а следовательно не получала и земли (которой, впрочем, и обработать не имела средств), мир со своей стороны на вдовьи слезы смотрел тупо.

— Да, добышник был, царство небесное! — сказал дядя Митяй.

— К крестьянскому делу радельщик был! — добавил дядя Митяй.

И пошли себе все дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна со своими слезами, приговариваясь на завтра же начать изучение бедственной трудовой науки, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя с детьми, и в конце которой (вот сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка, для дочери, — быть может, название деревенской сахарницы, для нее самой — медленная голодная смерть.

Может ли эта баба думать о чем-нибудь? Нет, она не может ни о чем думать, даже о своем собственном положении. Она не имеет времени размыслить, что оно горько и безнадежно, а должна мыслить только о том, что оно неизбежно, и что следует смириться перед ним. Она не может даже наплакаться вдоволь над собою, она не может наплакаться над телом своего добышника, да и слезы, которые она прольет при этом, будут слезы не бескорыстные, они будут отравляться мыслью: на кого-то ты меня покинул, как-то завтра я хлеб себе добуду с детьми малыми?

— Что ты теперь будешь делать? — спросил я эту самую бабу.

— А что делать! Стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду! — отвечала она, и в глазах ее не блеснуло ни злобы, ни негодования, с языка не сорвалось ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее и детей беспомощными, а ежели по временам и погладят по голове старшего сынишку, то с тайной мыслью: славный солдат будет!

Вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем никаких резонных оснований относиться к ней с уважением — это правда; но отчего же, тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не поторопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на всю ее жестокость, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто симпатичное и заманчивое? А вот почему.

Все эти Митяи — народ вовсе не злой и даже не испорченный они равнодушно поглаживают на бобылкино несчастье совсем не по окаменелости сердечной, поглаживают бобылкина сынишку с мыслью, что из него будет славный солдат, вовсе не по злорадству. Все это они делают потому, что опыт и история доказали им достаточно, что все они равны перед



«ТАРАНТАС»

Эпизод 3-го акта из пьесы «Тень освободителя» П. Сухотина (на тексты Щедрина)
в Московском Художественном театре 2-м, 1931 г.

несчастьем, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгуду. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет их, но и не останавливает надолго их внимания. Что тут плакаться над чужой бедою, когда завтра та же самая беда может стрястись над ним самим? Да и есть ли еще время плакать? Да и не стряслась ли уже эта беда? Не есть ли она вековая его сожигалица и спутница, которой и ждать-то совсем лишнее?

Повторяем: вот она, эта истинная истина жизни толпы, и вот где, по моему мнению, стоит настоящий исход для деятельности. Пусть всякий, выходящий на арену, подумает об этом, пусть пристальнее взглянется в толпу и припомнит, что был немецкий поэт Гете, который, в плохом переводе г. Струговщикова, сказал:

Кто не едал с слезами хлеба и т. д.

КОММЕНТАРИИ

Статья «Кто не едал с слезами хлеба» публикуется по автографической рукописи Щедрина, хранящейся в Институте Русской Литературы Академии Наук.

Время возникновения статьи — середина шестидесятих годов. На это указывают и внешние, и внутренние признаки. Внешние палеографические признаки (бумага, почерк, цвет чернил) сближают ее, с одной стороны, с очерками «Наша общественная жизнь» первой половины шестидесятих годов, с другой стороны — с очерками «Итоги» конца шестидесятих — начала семидесятих годов. Внутренние признаки это — живые картины народной нужды вплоть до расчетов годового бюджета бобылки-мотальщицы бумаги после гибели ее мужа на мельнице. Они сближают статью с личными впечатлениями Щедрина как-раз этого самого времени. Будучи управляющим казенными палатами в Пензе, Туле и Рязани в 1865—1868 гг., Салтыков имел большие возможности, во-первых, наблюдать быт и нужды пореформенной русской деревни и мелких провинциальных городов, особенно во время своих разъездов на ревизии уездных казна-

чейств и т. п.; во-вторых — анализировать эти нужды цифровым статистическим образом. Сохранившаяся казенная переписка Салтыкова тульского периода показывает, как тщательно он входил в расчеты по различным крестьянским налогам и сборам, защищая порою безграмотных плательщиков от неправильных поборов и наче- тов с точностью до трех четвертей копейки.

Не лишнее будет отметить, что с начала шестидесятых годов Салтыковым было куплено (на имя жены) подмосковное имение Витенево и при этом имении состояла мельница (которая была сдана в аренду также от имени жены), а вблизи находилась бумажная фабрика.

Более точно хронологию статьи определяет то обстоятельство, что она тесно примыкает к шестому письму из цикла «Письма о провинции», напечатанному в октябрьской книжке журнала «Отечественные Записки» 1868 г. Около половины публикуемой статьи вошло в указанное «Письмо шестое», но вошло в измененном виде, отдельными абзацами, совершенно перетасованными между собою и новыми текстами. Сравнение печатного и рукописного текста устанавливает, что шестое «Письмо о провинции» является более поздним по времени вариантом. Но при этом отпали некоторые очень важные черты статьи. Воспроизведение ее в первоначальном полном виде представляется поэтому небезынтересным и для исследователя Щедрина, и для его читателя.

Н. Яковлев